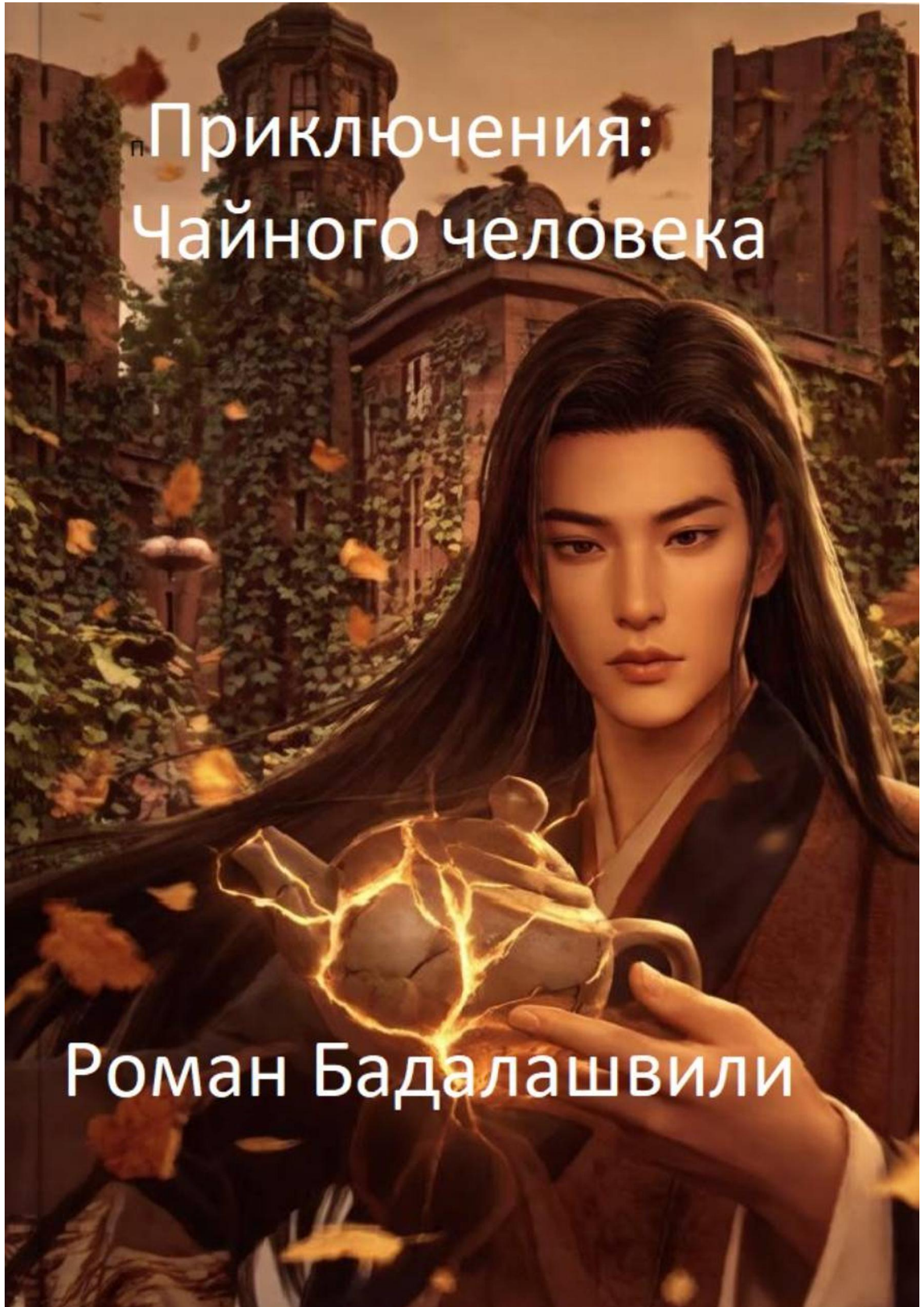




Приключения: Чайного человека

Роман Бадалашвили

Роман Бадалашвили

Приключения: Чайного человек.

«Автор»

2026

Бадалашвили Р.

Приключения: Чайного человек. / Р. Бадалашвили — «Автор», 2026

В мире, где чай — это магия, а вкус определяет судьбы империй, Ли Вэй — Мастер, привыкший контролировать всё: от температуры воды до формы листа. Но его идеальный мир рушится, когда он узнает страшную правду: его родовой сад в Пекине не просто засыхает. Он мутирует, поглощая саму суть времени, и если Вэй не найдет мифический «Абсолютный вкус», его дом поглотит серое забвение. Его путешествие — это паломничество сквозь изнанку мироздания. От островов, где радость рождается из хаотичного шума, до пыльных базаров Самарканда, где торгуют памятью, и до стерильных стальных пещер Мастера Ка — Архитектора, решившего уничтожить хаос человеческих чувств во имя идеального, мертвого порядка. Чтобы спасти сад, Вэю придется понять, что «контроль» — это лишь обратная сторона страха. Ему предстоит разбить свой священный чайник Цзы Ша, спуститься в бездну Великой Трещины и осознать, что истинное мастерство — это не умение подчинять мир, а право быть его несовершенным Свидетелем.

© Бадалашвили Р., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Увядавший сад	5
Глава 1. Острова на пенной шапке.	8
Часть 1. Анатомия падения.	8
Часть 2. Анатомия веселья.	10
Часть 3. Анатомия подарка.	12
Часть 4. Анатомия высоты.	15
Часть 5. Анатомия базара.	17
Часть 6. Анатомия компаса.	20
Часть 7. Анатомия забвения.	22
Глава 2. Пыль времени и железный купец.	24
Часть 1. Анатомия миража.	24
Часть 2. Анатомия сервировки.	26
Часть 3. Анатомия металла.	28
Часть 4. Анатомия сделки.	30
Часть 5. Анатомия предательства.	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Роман Бадалашвили

Приключения: Чайного человек.

Пролог. Увядающий сад

В Пекине стояла такая жара, что черепица на крышах будто плавилась, теряя твёрдость, — словно была сделана не из обожжённой глины, а из застывшего мёда, готового растечься под безжалостным солнцем. Воздух дрожал, как поверхность кипятка, и в этом дрожании мир терял чёткие очертания: дома расплывались в зыбкие силуэты, тени исчезали, будто их выжгло до основания, а звуки становились глухими, словно город накрыли толстым слоем ваты, приглушившим даже собственное дыхание улиц.

Даже ветер, который должен был приносить хоть какое-то облегчение, был горячим и сухим, будто его прогнали через раскалённые камни, чтобы он не смел нести прохладу. Он не шевелил листья — он лишь вздымал пыль, делая воздух ещё тяжелее, насыщая его горьковатой горечью выжженной земли.

В маленькой чайной «Нефритовый исток» не было ни одного гостя. Обычно в это время здесь собирались постоянные посетители — старые мастера, знатоки чая, купцы, которые ценили не столько роскошь, сколько глубину вкуса. Они занимали свои привычные места, тихо переговаривались, прислушивались к шипению воды и ждали, когда Ли Вэй достанет из тайника какой-нибудь редкий сорт, чтобы удивить их новым оттенком аромата — то едва уловимой сладостью, то неожиданной горчинкой, то нотой, которая вдруг напоминала о далёких горах или о дожде в бамбуковой роще.

Но сегодня тишина в чайной была не уютной, не той, что приходит, когда все погружены в созерцание, а тяжёлой, выжженной зноем. Она давила, как раскалённый воздух, не давая вздохнуть. Пыль лежала на полках, на резных деревянных балках, на медных подвесках, которые раньше тихонько звенели от каждого движения, — теперь они молчали, будто тоже устали от жары, сдались перед её бесконечным напором, утратив даже намёк на мелодичный перезвон.

Ли Вэй сидел на коленях перед старым столом из вяза. Дерево потемнело от времени, покрылось сетью мелких трещин, но всё ещё хранило в себе тепло рук тех, кто когда-то работал за этим столом, кто растирал листья, смешивал сорта, искал тот самый, единственный вкус. Перед ним лежал не чайник, не гайвань и не привычные коробочки с чаем, а древний свиток. Шёлк потрескался от времени так, что казалось, будто по нему прошёлся мороз, а не годы, — тонкие линии разломов шли по ткани, словно трещины на пересохшей земле, обнажая хрупкость минувших эпох.

Иероглифы, выведенные тушью цвета запёкшейся крови, были едва различимы: края букв расплылись, некоторые знаки почти стёрлись, будто хотели исчезнуть, раствориться в тишине, уступив место забвению. Но Вэй знал их наизусть — они въелись в его память, как запах чая въедается в стенки хорошего чайника, становясь частью самой посуды, её душой, её безмолвной историей. «Абсолютный вкус, — гласили строки, — не создаётся руками. Он растёт. Но если Дерево Вкуса в Саду Первых Наставников сбросит последний лист, память о чае исчезнет из всех миров».

Эти слова звучали в его голове как приговор, как предупреждение, которое он слишком долго игнорировал, прячась за уверенность в собственном мастерстве. Он думал, что сможет обойти судьбу, найти какой-то иной путь, придумать новый рецепт, который заменит утраченное, сохранить вкус, даже если исчезнет его источник. Но теперь он понимал: никакие рецепты не спасут то, что умирает у него на глазах, никакие тонкости заваривания не вернут жизнь тому, что уже теряет силы, превращаясь в тень былого величия.

Вэй вышел во внутренний двор. Его сад умирал — медленно, без крика, без бурных проявлений, но неотвратимо, как угасает огонь, когда в него перестают подкладывать дрова. Лунцзин, который в лучшие времена пах каштаном, свежей травой и утренним туманом, теперь отдавал пылью — сухой и горькой, как пепел от сожжённых писем. Листья поникли, потеряли упругость, будто из них ушла сама воля держаться прямо, сопротивляться безжалостной жаре. Даже земля под кустами казалась мёртвой — твёрдой, растрескавшейся, неспособной принять влагу, даже если бы дождь вдруг пролился с небес, словно сама природа отказалась верить в возможность спасения.

Он провёл пальцами по листу, и тот рассыпался в мелкую труху, оставив на коже серый след — будто сама пыль пыталась рассказать ему свою безмолвную историю. Вэй сжал ладонь, будто хотел удержать хоть крупницу прежнего аромата, но в воздухе не было ничего, кроме запаха выжженной земли и неизбежности, тяжёлого, горького предчувствия утраты. И в этой пустоте, в этом безмолвном распаде он вдруг ощутил не просто потерю — он ощутил ответственность, тяжёлую, как камень, который невозможно сбросить, потому что именно он и есть та опора, что не даёт упасть окончательно.

Дахунпао, скрученный в форме драконов, чьи листья должны были раскрывать вкус слоями, словно чешуя мифического существа, посерел — будто его покрыла тонкая плёнка времени, которую невозможно смыть. Даже неприхотливый пуэр, который, казалось, мог выжить в любых условиях, покрылся в земле белым налётом. Но это была не благородная патина, придающая чаю особый характер, а болезненная плесень — тихий, но беспощадный приговор. Она говорила о том, что почва больше не дышит, не питает, а лишь хранит остатки былой жизни, как старый сундук хранит вещи, которым уже нет места в настоящем.

Вэй опустился на колени прямо в сухую пыль. Пыль прилипала к коже, к одежде, проникала в поры, оседала на ресницах, и он вдруг почувствовал себя частью этого умирающего сада — таким же сухим, таким же потерянным, будто сам начал рассыпаться вместе с листьями. Он был Хранителем, но забыл главное правило: чай нельзя просто брать, его нужно понимать. Нужно чувствовать, как земля отдаёт влагу, как листья впитывают свет, как воздух обнимает каждую ветку, оберегая её от резких порывов ветра.

В погоне за редкими купажами для богатых купцов, которые хотели чего-то необычного, чего-то, что можно было бы назвать «эксклюзивным» и выставить напоказ, как трофей, он научился слушать землю. Он перестал замечать, как меняется почва, как стареют деревья, как сад просит о помощи — не словами, а тишиной, увяданием, потерей аромата. Сад кричал беззвучно, а Вэй не слышал. — Я исправлю это, — прошептал он, глядя на голые ветви, которые тянулись к небу, словно молили о дожде, о прохладе, о жизни. Его голос прозвучал тихо, почти неслышно, будто боялся спугнуть хрупкую надежду, но в нём была твёрдость, пришедшая не от уверенности, а от отчаяния. Он больше не мог позволить себе сомневаться: время для сомнений и оправданий истекло.

В углу двора стоял его старый чайник из исинской глины — Цзы Ша. Тёмнолиловый, покрытый сетью мелких пор, он хранил в себе память о тысячах заварок, о десятках лет, о людях, которые сидели за этим столом и делились своими историями, пока чай раскрывал свой вкус. Каждая царапина, каждая вмятина, каждый оттенок цвета были частью его истории — как шрамы на теле воина, рассказывающие о битвах, которые он пережил. Вэй знал: если найти правильный рецепт, этот чайник станет не просто сосудом, а проводником, который сможет соединить миры, вернуть утраченное, пробудить память, спящую в листьях и в самой земле.

Он вернулся в лавку. Здесь было чуть прохладнее, чем на улице, но эта прохлада была обманчивой: она не освежала, а давила, словно тяжёлый бархат, накинутый на всё вокруг. Воздух был затхлым, пропитанным запахами сухих листьев и старой древесины, будто время в этом месте остановилось и теперь медленно рассыпалось на мелкие частицы.

Вэй достал три коробочки, которые стояли на самой верхней полке — туда редко заглядывали посетители, и пыль на них лежала ровным, нетронутым слоем. В первой была щепотка дымного Лапсанг Сушонга. Его резкий, копчёный аромат, казалось, мог прорезать даже самую густую тишину. Этот чай должен был дать смелость, напомнить о том, что иногда нужно идти напролом, даже если путь кажется опасным, а впереди — только тьма.

Во второй коробочке был горький Ку Цяо — гречишный чай, который славился способностью придавать выносливость, помогать держаться на ногах, когда силы уже на исходе, а тело просит лишь одного — падения в тяжёлую, беспросветную усталость. И наконец, в третьей коробочке, самой маленькой, лежала капля росы, собранной с лотоса на рассвете. Она была прозрачной, почти невидимой, словно растворилась в самом воздухе, но в ней заключалась целая история: холод ночи, тепло первых лучей, тишина пруда, где лотос раскрывался навстречу солнцу, доверяя ему свою хрупкую красоту.

Вэй смешал эти три ингредиента, стараясь не нарушить хрупкий баланс. Он знал, что здесь важна не только пропорция — каждая крупинка, каждая капля должна лечь на своё место, — но и намерение, с которым ты соединяешь разные вкусы. Это был не просто купаж, не очередная смесь для изысканных ценителей, а ритуал, попытка вернуть то, что было утрачено, соединить разорванные нити памяти и жизни.

Вода в гайвани достигла ровно восьмидесяти пяти градусов — ни больше, ни меньше. Вэй следил за этим с напряжённой сосредоточенностью, будто от этой цифры зависела не просто раскрываемость нот, а сама возможность чуда. Именно при этой температуре раскрываются самые тонкие оттенки, именно при этой температуре чай начинает говорить, а не просто отдавать свой вкус, позволяя услышать в нём шёпот листьев, дыхание земли и память долгих дождей.

Вэй вдохнул пар, закрыл глаза и произнёс формулу перехода — слова, которые передавались в их семье из поколения в поколение. Эти слова редко произносили вслух: они считались слишком могущественными, слишком опасными, если использовать их без понимания, без внутренней тишины, без готовности принять последствия.

Он не знал, сработает ли это. Не знал, достаточно ли он чист в своих намерениях, не прячет ли за желанием спасти сад собственное тщеславие или страх потерять то, что считал своим. Не знал, заслужил ли он право просить о помощи. Но он знал одно: он должен попробовать. Потому что бездействие стало бы предательством — не только по отношению к саду, но и по отношению к самому себе, к той части души, которая всё ещё умела слышать тишину.

Пространство не треснуло, не раскололось с оглушительным звуком, не вспыхнуло ярким светом, как бывает в легендах, где магия приходит с громом и молнией. Оно просто стало влажным, тёплым, словно кто-то тихо открыл дверь в комнату, где долго держали пар, позволяя ему медленно растечься по всему помещению. Воздух наполнился запахом дрожжей, яблок и чемто неуловимо кислым — запахом брожения, жизни, движения. Это был запах не разрушения, а превращения, запах того, как одно становится другим, как старое уступает место новому, не исчезая бесследно, а перетекая в иную форму.

Вэй открыл глаза. Сад всё ещё был сухим, листья всё ещё были серыми, будто покрытыми слоем пепла, и земля попрежнему казалась мёртвой. Но в воздухе витало что-то новое — надежда, едва заметная, как первый росток, пробивающийся сквозь твёрдую землю. Она не кричала о себе, не обещала мгновенного спасения, но тихо шептала: «Ещё не поздно. Ещё можно успеть».

И в этот момент он понял: спасение не придёт извне, не явится в виде внезапного ливня или голоса с небес. Оно начнётся здесь, с него самого, с его готовности услышать то, что говорит ему сад, даже если этот голос будет тихим, едва различимым, даже если он будет звучать как шёпот пыли, оседающей на остывших камнях.

Глава 1. Острова на пенной шапке.

Часть 1. Анатомия падения.

Пузырь лопнул не с громким хлопком, а с влажным, чавкающим вздохом, словно гигантский комар проколол кожу мироздания. Вэй не упал — он влип. Он открыл глаза и понял, что стоит по щиколотку в чем-то упругом, теплом и пульсирующем. Это напоминало густой кисель или недозревшее желе. Попытка сделать шаг закончилась громким, сочным чавканьем. Вэй опустил взгляд. Его темно-синий шелковый халат, предмет его тайной гордости, купленный на торгах в Ханчжоу, был покрыт липкими, янтарными каплями, которые пахли брожением, перезрелыми фруктами и чем-то медицинским, аптечным.

Он находился на поверхности гигантского чайного гриба. Поверхность острова дышала. Под тонкой, желтовато-розовой пленкой Комбучи медленно, в ритме спящего кита, перекачивались волны густой, пузырящейся жидкости. Остров, на который его выбросило, был размером с небольшую городскую площадь. Вокруг, насколько хватало глаз сквозь плотную, пахнущую яблочным уксусом и диким медом дымку, парили тысячи таких же островов. Они дрейфовали в воздухе, сталкиваясь с мягким, чавкающим звуком, соединяясь шаткими мостиками из зеленого бамбука, которые опасно пружинили под порывами ветра.

Само небо здесь было неправильным. Оно имело глубокий, бархатный цвет выдержанного улуна Да Хун Пао — темно-фиолетовый, с прожилками охры. А по нему лениво плыли облака, но они не были белыми. Они были цвета взбитых сливок, плотные и сладкие на вид. Солнца здесь не было; свет исходил от самой поверхности гриба, который флуоресцировал изнутри мягким, медовым сиянием, создавая вечные, длинные тени.

— Осторожнее, двуногий варвар! — пропищал тонкий, вибрирующий голосок прямо над правым ухом Вэя. — Ты своим грязным сапогом сейчас мою ферментацию раздавишь! Я этот штамм «Золотого Льва» три месяца выводил, он дает ноты манго, скотного двора и легкой меланхолии!

Вэй отскочил в сторону, едва не поскользнувшись на скользкой пленке. Над ним, балансируя на пузыре углекислого газа размером с арбуз, висело существо. Оно было размером с небольшую обезьяну, покрыто густой белой шерстью, которая свалилась в дреды и пахла кислым молоком, дрожжами и чем-то неуловимо детским. Огромные, черные, влажные глаза занимали половину мордочки, а рот был растянут в вечной, слегка безумной улыбке. Существо было одето в жилетку, сшитую из прессованных чайных листьев, скрепленную живой травинкой. В лапах оно держало длинную стеклянную трубку с резиновой грушей на конце.

— Приветствую, почтеннейший, — Вэй машинально сложил руки в традиционном поклоне, стараясь не расплескать остатки достоинства. — Я Ли Вэй, хранитель чайной «Нефритовый источник». Прошу простить мою неловкость. Гравитация в моих краях, видимо, менее... игристая.

Существо фыркнуло, выпустив из ноздрей облачко пахнущих сидром пузырьков, и ловко спрыгнуло на поверхность острова. При приземлении оно не оставило ни единого следа — шерсть фуку, казалось, была покрыта тончайшим слоем тефлона.

— Игристая? — передразнило оно высоким, дребезжащим голосом. — Ты тяжелый, как плохо просушенный шэн пуэр. Ты продал мой перикарпий на целых два цуня! Я — Старший Бродильщик Фу. А ты — причина, по которой у нас сегодня утром трясся Главный Остров и скис утренний удон у семьи Ли. Они теперь винят во всем тектонику, но я-то знаю, что это ты своим весом сместил центр масс!

Вэй поклонился еще раз, ниже. Он чувствовал себя идиотом, но правила этикета въелись в его кости глубже, чем пыль в его сад.

— Я не хотел причинить вред вашему... перикарпию. Я ищу лист с Древа Вкуса. Мой сад умирает.

Бродильщик Фу закатил свои огромные глаза так, что стали видны белки. Он всплеснул лапами, едва не выронив стеклянную трубку.

— Все вы приходите за листьями. «Дайте мне лист», «я ищу лист». Как будто они растут на деревьях! — он фыркнул, осознав абсурдность своей шутки, и сам же захихикал, трясясь всем телом.

— Древо растет в тумане на севере, это правда. Но оно не дает свои листья тем, кто пахнет гарью. От тебя несет костром, заваривающий. Ты злой? Ты кого-то сжег? Сковородку? Тещу? Налогового инспектора?

— Я торопливый, — признался Вэй, пытаясь незаметно оттереть липкое пятно с рукава. Пятно только размазалось, став еще больше и приобретя оттенок старой горчицы.

— Это одно и то же, — отрезал Фу, неожиданно становясь серьезным. Его голос утратил привычную игривость, в нём зазвучала твердость, которую редко слышали от веселого фуку. Он ткнул резиновой грушей своей трубки в сторону ближайшего летающего острова — движение вышло резким, почти сердитым.

— Торопливость — это злость, направленная на время. А время здесь, между прочим, деньги. Мои пузыри! Чтобы ступить на землю Древа, ты должен пройти Церемонию Радости. Это древний закон, подписанный ещё первыми дрожжами.

Он на секунду замолчал, и в этой паузе прозвучала не просто досада, а настоящая горечь.

— Наш народ — фуку — забыл, как это делается. Мы разучились праздновать. Мы только прыгаем. Прыгаем, бродим, бродим, прыгаем. Это скучно. Скучно и неправильно. Мои предки в Чанах Вечного Брожения перевернутся от такой жизни. Они бы не узнали нас.

Фу сделал шаг ближе, и его взгляд стал пронзительным, совсем не похожим на тот рассеянный, веселый взгляд, к которому все привыкли.

— Проведи нам чайную церемонию. Настоящую. Гунфуча. Не какуюто пародию, не быстрый перелив из чайника в пиалу ради галочки, а настоящую — где каждый жест имеет смысл, где тишина — это тоже часть вкуса.

Он прищурился, будто уже видел, как всё может пойти не так, и тут же поднял палец, предупреждая покачивая им в воздухе.

— Но учти: если ты начнёшь читать свои занудные нотации про «температуру воды в 82 градуса» и «угол наклона крышки в 45 градусов», мы сбросим тебя в кислую бездну. Там внизу живут слепые угри — они очень любят шёлк. Они тебя оближут до костей, и ты станешь гладким, как фарфор. И не говори потом, что я не предупреждал.

Часть 2. Анатомия веселья.

Вэй расстелил свой бамбуковый коврик прямо на пульсирующей, тёплой поверхности гриба. Поверхность едва заметно вздыхала под ним — будто живое существо, которое привыкло к чужому весу. Инструменты он достал с благоговением, стараясь не касаться ими липкого пола, покрытого тонкой плёнкой сладковатой слизи.

Гайвань из белого фарфора, чайник Цзы Ша (который, к счастью, пережил падение, хотя на его боку теперь красовалась глубокая царапина от удара, словно шрам, рассказывающий свою историю), чахай и бамбуковая ложка легли на коврик в привычном порядке — каждый предмет на своё место, как воин на отведённую ему позицию перед битвой.

Местные фуку, привлечённые запахом дыма от его одежды — запахом дальних дорог, остывшего пепла и чегото неуловимо человеческого, — облепили его со всех сторон. Они висели на бамбуковых балках мостиков, сидели на пузырях, как на табуретах, и даже свисали с собственных волосяных лиан вниз головой, держась за них пальцами ног. Их шерсть была густо усыпана белой дрожжевой пылью, и они напоминали оживший сугроб, который вдруг решил научиться говорить, смеяться и задавать тысячу вопросов одновременно.

Обычно церемония гунфу-ча — это религия тишины. Слышно должно быть только три вещи: бульканье воды, звон фарфоровой крышки и собственное дыхание. Тишина — это пространство, где рождается вкус, где каждый оттенок раскрывается не спеша, позволяя человеку услышать в нём эхо далёких гор и шёпот утреннего ветра.

Но Вэй посмотрел на эти нетерпеливые, круглые глаза, на подёргивающиеся от любопытства носы, на сотни пушистых тел, вибрирующих от сдерживаемой энергии, будто внутри каждого фуку прятался маленький барабан, который вот-вот начнёт отбивать ритм. И он понял: тишина их убьёт. Она покажется им не священной, а пустой, холодной, чужой.

Этому миру нужен был не покой. Этому миру нужен был праздник. Ему нужен был шум — не хаотичный, не разрушительный, а живой, пульсирующий, такой же ритмичный, как бие-ние сердца гриба под его ногами. Шум, в котором вкус не теряется, а расцветает, будто цветок, раскрывающийся навстречу дождю.

Обычно церемония гунфу-ча — это религия тишины. Слышно должно быть только три вещи: бульканье воды, звон фарфоровой крышки и собственное дыхание. Тишина — это пространство, где рождается вкус. Но Вэй посмотрел на эти нетерпеливые, круглые глаза, на подёргивающиеся от любопытства носы, на сотни пушистых тел, вибрирующих от сдерживаемой энергии, и понял: тишина их убьёт. Этому миру нужен был не покой. Этому миру нужен был праздник. Ему нужен был шум.

— Сегодня мы празднуем звук, — объявил он, и его голос, непривычно громкий и раскатистый, эхом отразился от чайных скал, парящих вдалеке.

Он взял гайвань. Вместо того чтобы плавно согреть ее, вращая воду по стенкам, как он делал это для маньчжурских вельмож, он со звоном ударил фарфоровой крышкой о край чаши. *Дзанг!* Звук получился резким, почти пугающим, похожим на удар в медный таз. Фуку замерли в воздухе. Даже пузыри под их ногами, казалось, перестали испускать газ от удивления.

Вэй взял чайник Цзы Ша. Вместо плавной, непрерывной струи, которой он поил купцов, он начал лить воду резко, отрывисто, заставляя носик чайника вибрировать. *Клак! Клак! Клак!* Звук был похож на стук деревянных колотушек в театре теней.

— Еще! — восторженно пропищал Фу, зависнув вниз головой прямо перед лицом Вэя. Его шерсть свалялась вперед, закрывая обзор. — У вашего чайника такой чудесный, хриплый голос! Он похож на моего дедушку, когда тот объелся забродившей тыквой на празднике урожая и пытался спеть оперу!

Вэй почувствовал, как внутри что-то щёлкнуло — будто сорвалась туго натянутая струна, которая столько лет держала его в узде. Двадцать лет он был слугой тишины. Двадцать лет он боялся сделать лишнее движение, боялся лишней раз звякнуть крышкой, нарушить священную паузу между вдохом и выдохом. А сейчас он позволил себе стать диким — таким же необузданным, как ветер, гуляющий между летающими островами.

Он стал использовать чахай — кувшинчик справедливости — как барабан, выстукивая рваный, синкопированный ритм по краю гайвани. Звук получался не чистым и звонким, как полагалось по канону, а гулким, почти звериным, будто в фарфоре просыпалось что-то древнее, давно забытое. Он наливал чай с большой высоты, так что струя пела пронзительную, высокую ноту, прежде чем разбиться о фарфор и рассыпаться брызгами, похожими на искры.

А ещё он тряс свой старый походный термос, создавая глухую, утробную дробь, от которой вибрировали внутренности и приятно покалывало зубы — словно каждый звук находил свой отклик где-то глубоко внутри, пробуждая то, что годами пряталось под слоями правил и запретов.

Остров задрожал. Но дрожал не гриб под ногами — дрожали от смеха фуку. Они срывались со своих пузырей, падали в янтарную пену с громкими всплесками, выныривали, отплываваясь дрожжами, хватались за круглые животы обеими лапами и снова взлетали, используя силу собственного хохота. Их коллективный гогот рождал новые пузыри метана, которые подбрасывали их к самым облакам — облакам цвета выдержанного улунa, тёплым и золотистым, будто подсвеченным изнутри.

Это была самая хаотичная, самая неправильная и при этом самая счастливая чайная церемония в жизни Ли Вэя. В ней не было ни одного движения, которое признали бы правильным мастера из «Нефритового истока». Но в ней была жизнь — шумная, яркая, неукротимая.

Он забыл о своём умирающем саде. Забыл о пыли Пекина и тяжести шёлка, о том, как багровое пятно на халате когда-то казалось картой его вины. Забыл, что он — Хранитель, носитель великой традиции, которому положено беречь тишину и следовать древним правилам. В этот миг он просто был инструментом, извлекающим первобытную, дрожжевую радость из мокрой глины и горячей воды — и в этом странном, дерзком звучании находил что-то куда более настоящее, чем любая безупречная церемония.

Когда он закончил, когда последняя заварка — светлая, почти прозрачная, с золотистым отливом, пахнувшая диким медом, переспелым, лопнувшим от сока персиком и карамелью — была разлита по грубым деревянным площадкам, которые фуку протянули ему, скрестив лапы, наступила тишина. Но это была не пустая тишина храма. Это была сытая, звенящая, счастливая тишина после хорошей песни.

Фу подлетел к нему. Из его глаз текли слезы брожения, но существо улыбалось так широко, что шерсть на щеках натянулась до предела.

— Это было... громко, — выдохнул Бродильщик, хватая деревянную площадку обеими лапами и опрокидывая её в себя. — Мы забыли, что радость может шуметь. Мы думали, она должна быть прозрачной и тихой, как выдержанный пуэр. А она, оказывается, звенит. Как крышка твоей гайвани.

Фу рыгнул, крикнул и подлетел к краю своего острова. Там, вплетенная прямо в плоть гриба, росла ветка, не похожая на остальные. Она светила собственным, пульсирующим золотым светом. На ней висел один-единственный лист. Он не был зеленым. Он был соткан из застывшего янтаря, и внутри него, как в капле смолы, застыла крошечная золотая искра. Он пах карамелью, солнцем и тем самым детским восторгом, когда тебе впервые разрешают не ложиться спать.

— Возьми, — сказал Фу, бережно, двумя пальцами, срывая лист. Он был теплым, почти горячим. — Вы, люди, странные. Вы думаете, что чай — это способ успокоиться. Способ стать правильным. Но иногда это лучший способ устроить пожар. Держи.

Часть 3. Анатомия подарка.

Вэй принял лист с глубоким, отточенным годами поклоном. Его спина согнулась под идеальным углом, а ладони замерли в сантиметре от пульсирующей поверхности гриба — жест, который он оттачивал десятилетиями перед маньчжурскими чиновниками и купцами. Но здесь, перед белым пушистым существом, пахнущим сидром, этот ритуал казался одновременно и вершиной абсурда, и единственным правильным действием.

Лист в его руках был тяжелым и теплым. Он не просто лежал на ладони — он пульсировал, как живое сердце, передавая свой ритм коже Вэя. Вэй чувствовал, как внутри этого кусочка застывшего янтаря бьется сама суть радости. Он осторожно, почти не дыша, завернул его в лоскут, который оторвал от подола своего многострадального халата. Шелк, когда-то стоивший как годовой урожай небольшой деревни, теперь был покрыт липкими разводами и дрожжевой пылью. Вэй спрятал сверток за пазуху, прижав его к груди, прямо над сердцем.

Лист жег кожу приятным, глубоким согревающим теплом, словно маленькая печка, в которой горят не дрова, а само лето. Вэй выдохнул. Впервые за долгие годы — с тех пор, как он принял титул Хранителя — он чувствовал себя не обремененным долгом. Он чувствовал себя... легким.

— Как мне найти Древо? — спросил Вэй, поворачиваясь к своим инструментам. Он начал собирать их: гайвань, чахай, бамбуковую ложку. Руки его слегка дрожали после пережитого веселья. Мышцы лица, уставшие от непривычно широкой улыбки, подергивались. — Старейшины в свитках говорили о тумане. О тумане, который нужно вдохнуть, чтобы найти корни.

— Туман? — Фу фыркнул так сильно, что выпустил облако пузырьков, пахнущих забродившей тыквой. Он вытер липкие усы тыльной стороной лапы, размазывая белую пыльцу. — Туман — это для тех, кто умеет ждать. Для поэтов, каллиграфов и покойников. А ты, заваривающий, умеешь шуметь. Ты — барабанный бой. Видишь вон тот пузырь? — он указал своей стеклянной трубкой на огромный, в два человеческих роста, пузырь, медленно поднимающийся из глубин гриба.

Его поверхность переливалась всеми оттенками зеленого — от цвета молодого изумруда до глубокой темной бирюзы. Она была прочной, как выдувное стекло, и по ней пробегали радужные разводы, как на масляном пятне. Пузырь поднимался плавно, подчиняясь невидимым течениям газа.

— Он идет на север, — продолжил Фу. — Это местный экспресс. Самый быстрый способ покинуть зону брожения. Только не забудь зажать нос. Там, наверху, в верхних слоях атмосферы, пахнет так, будто кто-то утопил в сливовом вине целого быка, а потом забыл его на неделю на солнце. Высушил, а потом снова намочил. Запах... концептуальный.

Вэй кивнул. Он закрепил гайвань в поясном мешочке. Он прижал к груди сверток с листом левой рукой, чувствуя, как бьется его собственное сердце в унисон с подарком — быстрый, радостный ритм.

— Подожди, — вдруг окликнул его Фу, когда Вэй уже занес ногу над пружинящим, влажным краем острова, готовясь запрыгнуть на поднимающийся пузырь. Вэй замер. Пузырь покачивался в воздухе, издавая тихий, напряженный гул.

— Твой халат, — проскрипел Фу.

Вэй опустил взгляд на себя. Это был первый раз за всё утро, когда он по-настоящему посмотрел на свою одежду. Его темно-синий шелковый халат, предмет его тайной гордости, купленный на закрытых торгах в Ханчжоу, предмет, который он надевал только для самых важных гостей... теперь он выглядел как тряпка, которой в его лавке протирают пол в подсобке. Тяжелый шелк был покрыт липкими пятнами дрожжей всех оттенков — от желтого до бурого.

По ткани шли брызги пены, словно кто-то обстреливал его из сифона. Грудь и плечи были густо усыпаны белой пылью фуку. А там, где он пролил на себя чай из чаяхя, расплывалось темное, влажное пятно.

Халат был безнадежно испорчен. Шелк потерял свой благородный матовый блеск, став тусклым и жестким от налипшей грязи.

— Я... я испортил его, — пробормотал Вэй.

Горло вдруг перехватило ледяным спазмом. Это была не просто одежда. Это была его броня. Его статус. Без этого халата он был просто мужчиной с чайником. В нем — Мастером. Половина его уверенности, половина его умения держать спину прямо перед лицом смерти держалась на весе этого шелка. Он стоил ему половины коллекции весенних улунов, которые он выменял в провинции Фуцзянь...

Фу подлетел вплотную. Он не висел на пузыре, а стоял на воздухе, опираясь на невидимую ступеньку. Его влажный черный нос, холодный и чуть мокрый, коснулся щеки Вэя. Пахнуло яблоками, уксусом, диким медом и чем-то неуловимо родным, как запах из детской.

— Варвар, — мягко сказал Бродильщик. И в его высоком, дребезжащем голосе впервые не было насмешки. Была только глубокая, древняя усталость. — Ты спас целый народ от скуки. Ты понимаешь? Мы жили здесь тысячи лет, и мы умирали от *тишины*. Ты подарил нам шум. Ты подарил нам право звенеть. А ты извиняешься за кусок ткани?

Фу отстранился и облетел Вэя по кругу, осматривая его, как скульптор осматривает статую. — В моем мире шелк, испачканный в рождении нового вкуса — это высшая регалия. Это как если бы ты выловил жемчужину из навозной кучи. Грязь доказывает, что ты там был. Носи с гордостью. Это теперь не халат. Это мантия Главного Весельчака Архипелага. Официальный титул. Если наденешь ее на Большом Совете Бродяг, тебе нальют бесплатно в любой дыре от Пекина до Самарканда.

Вэй стоял неподвижно. Он смотрел на свои грязные руки. На пузырящийся, хохочущий мир вокруг, который всё еще вибрировал от эха его безумной церемонии. На свой безнадежно испорченный халат. И вдруг он рассмеялся.

Он не хихикал, как Фу. Он не смеялся вежливо, как делал это на приемах. Он запрокинул голову к фиолетовому небу и захохотал. Громко, раскатисто, до боли в ребрах. Смех рвался из него наружу, вымывая из легких остатки пекинского дыма, пыль столетий и многолетнюю пыль ответственности. Он смеялся над собой, над своим пафосом, над своей погубленной лекцией и над тем, что только что спас мир от скуки, будучи одетым как уличный попрошайка.

— Благодарю тебя, Старший Бродильщик, — сказал он, наконец вытирая выступившие от смеха слезы тыльной стороной ладони. — Я постараюсь не опозорить твой подарок.

— Ты уже его опозорил, — фыркнул Фу, но глаза его сияли. — И это лучшее, что с ним случилось. Иди. И если увидишь там, на севере, кого-то в сером... не грусти. Им тоже нужен шум.

Вэй глубоко вдохнул. Он запахнул халат. Багровое пятно от граната на синем шелке теперь выглядело не как дефект, а как печать. Медаль за отвагу. Он шагнул на поверхность поднимающегося пузыря.

Поверхность прогнулась под его весом, как плотная резина или батут, но выдержала. Вэй расставил ноги, чтобы удержать равновесие. Пузырь слегка качнулся. Внутри него пахло перебродившей сливой, диким медом и чем-то неуловимо похожим на свободу — запахом открытых окон и быстрого бега.

Пузырь начал ускоряться. Ветер ударил Вэю в лицо, холодный и игристый. Он поднимался всё выше. Острова фуку внизу стремительно уменьшались, превращаясь в россыпь белых пятен на янтарном океане. Звук хохота фуку исчез, сменившись тихим, мелодичным гулом ветра, проходящего сквозь чайные облака.

Вэй стоял на своем стеклянном корабле, вцепившись одной рукой в пояс, а другой прижимая к груди сокровище. Его синий халат хлопал на ветру, как флаг пиратского судна. Он летел на север, оставляя за собой мир дрожжей и веселья, и направляясь в мир железа и выгоды.

Он посмотрел вниз, на удаляющиеся острова.

— Я вернусь, — прошептал он ветру. — Когда найду вкус, я вернусь, чтобы заварить вам настоящий праздник.

Пузырь сомкнулся с чайными облаками, и мир вокруг Вэя стал густым, белым и тихим.

Часть 4. Анатомия высоты.

Путешествие сквозь «чайные облака» заняло субъективные три часа, хотя само понятие времени здесь казалось издевкой. Пузырь поднимался медленно, величественно, протыкая своим зеленым телом разные слои атмосферы этого странного мира, словно игла, прошивающая разноцветные лоскуты ткани.

Сначала они прошли сквозь то, что Вэй мысленно окрестил «Слоем Пьяной Сливы». Здесь пахло так густо и сладко, что Вэй замутило. Это был концентрированный аромат переспелых фруктов, забродившего нектара и пыльцы, от которой кружилась голова и язык становился ватным. Стенки пузыря, до этого прозрачные, начали покрываться снаружи липким, золотистым налетом — он собирал на себя пыльцу верхних растений, превращаясь в подобие гигантской, переливающейся медом капли смолы. Вэй провел пальцем по внутренней поверхности стекла. Она стала вязкой. Ему казалось, что он находится внутри глотка гигантского зверя, который только что выпил целое море ликера.

Затем они вошли в «Слой Тишины». Граница между слоями была резкой, как удар ножа. В одну секунду Вэй слышал свист ветра в ушах, а в следующую — абсолютная, мертвая пустота поглотила всё. Звук исчез. Вообще. Пузырь перестал вибрировать, лишившись своего тихого, убаюкивающего гула. Вэй перестал слышать даже стук собственного сердца.

Он в панике прижал ладонь к груди. Тишина была оглушающей. Он посмотрел на свои руки. Кожа казалась бледной, восковой. Он с ужасом понял, что не чувствует пульса в запястьях. Кровь остановилась? Он умер в этом стеклянном гробу? Паника, холодная и скользкая, подступила к горлу, перекрывая остатки воздуха.

Но в этот момент золотистый лист за пазухой, подарок фуку, вдруг вспыхнул нестерпимым жаром. Вэй вскрикнул, но не услышал собственного голоса. Жар был таким сильным, словно под ребра сунули раскаленный уголек. И в ответ на эту боль — *бух!* — сердце ударило в грудную клетку так яростно, что едва не проломило ребра. Звук вернулся. Вэй судорожно вдохнул, хватая ртом густой, сладкий воздух. Он был жив. Но теперь он знал: этот лист не просто грел. Он *держал* его в мире живых.

Наконец они пробили верхний слой облаков. Вэй открыл глаза. Они парили над миром. Острова-грибы внизу казались теперь не больше монет, разбросанных по бархатному покрывалу. Небо сменило цвет. Оно стало темно-фиолетовым, почти черным, но это была не ночь. Звезд в нем не горело. Вместо них в вышине, в абсолютной пустоте, висели колоссальные, размером с гору, друзы кристаллов. Они медленно вращались вокруг своей оси, и свет невидимого солнца, проходя сквозь их грани, преломлялся, окрашивая облака внизу в неестественные, психоделические цвета — болезненно-лимонный, трупно-зеленый и глубокий индиго.

Пузырь нес их на северо-восток. Вэй достал свой медный компас, чтобы проверить курс. Стрелка всё еще указывала на север, но теперь она мелко, почти болезненно подрагивала, словно приюхиваясь к ветру, который дул из верхних слоев атмосферы.

Вэй достал из мешочка на поясе флягу с остатками воды из пекинского колодца. Она давно остыла, и он забыл о ней. Он отвинтил крышку, надеясь смыть липкую пыльцу с пальцев. Вода внутри... изменилась. Она стала вязкой, золотистой, как жидкий янтарь, и пахла тем самым «Золотым Львом», которого спасал Фу на островах. Вода впитала в себя атмосферу праздника. Вэй усмехнулся, глядя, как густая капля медленно стекает по стеклу фляги. Похоже, его фляга тоже прошла церемонию. Теперь у него в кармане был не просто запас воды, а карманный портал.

Внезапно пузырь начал снижаться. Снижение было пугающе быстрым. Вэй едва успел схватиться за гладкую стенку, когда фиолетовое небо сменилось сначала серым, а затем — ослепительно ярким светом. Они пробили облачное море.

Внизу, разрывая его, показалась суша. Но это был не остров. Это был колоссальный, плоский как стол материк, изрезанный тысячами каналов, прямых как лезвие бритвы. В воздухе висел густой, пряный запах, который ударил по рецепторам сильнее, чем удар палкой торговца. Пахло тмином, кориандром, пылью, раскаленным добела камнем и немытым человеческим телом. Пахло застарелым бараньим жиром, сладкой гнилью кураги и дымом жаровен. Пахло Востоком. Настоящим, базарным, пыльным, живым Востоком.

Пузырь мягко опустился на крышу высокого, квадратного здания из песчаника, венчавшего один из каналов. Он содрогнулся, словно испустил долгий, усталый вздох, и с влажным хлопанием опал, превратившись в лужу липкой, пахнущей яблоками слизи. Магия исчерпала себя.

Вэй ступил на раскаленную черепицу. Ветер ударил в лицо, швырнув в него горсть мелкого, въедливого песка. Солнце здесь было настоящим — огромным, белым и безжалостным. Оно выжигало остатки влаги из его многострадального халата, превращая липкие пятна дрожжей в жесткую, хрустящую корку.

Где-то внизу, в лабиринте узких улиц, взвыл ишак, за ним заругался человек на гортанном наречии, и женский голос запел протяжную, тоскливую песню, от которой заныли зубы.

Вэй достал свой медный компас. Стрелка, до этого дрожавшая от высоты, теперь замерла. Она стояла неподвижно, как штык. Но она указывала не на север. Она указывала прямо вниз, в самое сердце базара, туда, где сходились все каналы и где, по словам Ибрахима, продавали всё, включая чужие души.

Часть 5. Анатомия базара.

Самарканд встретил его жаром. Это был не мягкий, обволакивающий жар чайного гриба, который питал острова фуку, и не стерильный жар кузницы Ка. Это был сухой, агрессивный жар печи, выжигающий влагу из самого воздуха. Солнце здесь было настоящим — огромным, белым и абсолютно безжалостным диском, висевшим в выцветшем небе.

Оно ударило по Вэю, как только он ступил на черепицу, и принялось выжигать остатки влаги из его многострадального шелкового халата. Липкие пятна от Комбучи, пыльца фуку и брызги пуэра начали подсыхать, превращаясь в жесткую, хрустящую корку, стягивающую кожу. Вэй почувствовал, как шелк, предмет его тайной гордости, становится похожим на пергамент мертвеца.

Он нашел шаткую деревянную лестницу, ведущую с крыши чайханы в переулочек, и начал спуск. С каждым шагом вниз запах менялся. Наверху пахло пылью и горячим камнем. Здесь, внизу, пахло жизнью в её самой концентрированной, почти невыносимой форме.

Это был не просто рынок. Это был океан. Океан из человеческих тел, немой шерсти, звенящей меди, кислого молока и пряностей. Воздух был настолько густым и горячим, что его, казалось, можно было резать ножом. Он висел над улицами синим маревом — смесью дыма от жаровен, угольной пыли и испарений пота сотен людей. Узкие улочки, по которым едва могли разойтись два навьюченных верблюда, были завалены товаром так плотно, что земли не было видно.

Здесь продавали всё, что только может создать или убить человек: живых павлинов с выкрашенными в розовый перьями, связки кунжутной халвы, сочащейся медом, кинжалы с рукоятками из нефрита, в которых пульсировали вены, отрезки шелка, которые светились изнутри собственным призрачным светом, и горы сухих, скрюченных корней, названия которых Вэй даже не знал, но от которых несло древней, первобытной магией.

Он шел, лавируя между лотками, инстинктивно прижимая локти к бокам, чтобы не задеть чей-нибудь товар. Его мантия «Главного Весельчака» — испачканный, потерявший форму шелковый халат — здесь никого не впечатляла. На фоне кричащих красок, блеска золота и ярких тюрбанов она выглядела тряпьем. На него смотрели либо с подозрением — как на вора или чужака, либо не смотрели вовсе, занятые вечным танцем торга.

Вэй пытался найти ориентиры. Он достал свой медный компас, надеясь, что стрелка укажет на север, к Древу. Но компас в кармане сошел с ума. Вибрация, которую он чувствовал на пузыре, превратилась в лихорадочную дрожь. Стрелка металась по кругу, словно обезумевший зверь в клетке, дергаясь от севера к югу, звеня о стенки корпуса. Затем, так же внезапно, она замерла. Замерла так резко, что Вэй услышал тихий щелчок металла. Стрелка указывала не на север. Она указывала в сторону, на старый, облупленный дом из песчаника с резным деревянным балконом, который, казалось, готов был рухнуть в любую секунду.

— Чай? Свежий чай! — заорал кто-то прямо в левое ухо, брызгая слюной. — Лучший лунцзин к северу от Пекина! Бери, пока не сожгли!

Вэй вздрогнул, отшатываясь от лотка, где торговец зеленым чаем пересыпал листья с ладони на ладонь, создавая гипнотический шелест. Он обернулся, чтобы извиниться.

Перед ним стоял старик. Лицо его было похоже на сушеную хурму — в глубоких трещинах, как пересохшее русло реки. Вместо левой руки у него был протез из темного, отполированного тысячами прикосновений дерева, вырезанный в форме старинного кувшина с длинным, изогнутым носиком.

— Пуэ-эр! — прокричал старик, не глядя на прилавок, а глядя прямо на Вэя. — Тридцать лет в пещере! Пыль времени! Бери, заваривающий, у тебя глаза голодные.

Вэй замер. Старик смотрел прямо на него, но белки его глаз были подернуты белесой, молочной пленкой. Он был слеп.

— Откуда вы... — начал Вэй, но горло перехватило.

— Пахнешь, — отрезал старик. Голос был сухим, как скручивающийся чайный лист. — Ты пахнешь костром, который не смог согреть. И ты пахнешь спешкой, которая убивает вкус. — Старик чуть повернул голову, и его деревянный носик-протез указал точно на грудь Вэя. — И ты наступил мне на тень. Это не к добру. Тень — единственное, что у меня осталось своего. Садись.

Это был не приказ. Это была констатация факта, противиться которой было так же бессмысленно, как спорить с солнцем. Старик, которого, как позже выяснил Вэй, звали Ибрахим, указал своей живой рукой на потертый ковер, расстеленный прямо на земле в тени старого тополя. Рядом тлела жаровня, на которой грелся помятый медный кувшин.

Вэй, сам не понимая почему, подчинился. Он шагнул в тень, опустил на колени, а затем сел на пятки. Позвоночник привычно заныл от этой позы — позы ученика.

Ибрахим не суетился. Он достал две грубые, ничем не покрытые глиняные пиалы. Никакой гайвани. Никакого серебряного чахая. Никакой церемонии. Он просто порылся в складках своего выцветшего халата, достал кинжал и отколол кусок от черной, как земля, лепешки чая. Бросил в пиалу. Залил кипятком из помятого медного кувшина.

Вода мгновенно стала непроглядно-черной. Густой, как нефть. Она не приобрела цвет — она *стала* цветом. Запах ударил в нос тяжелым, бархатным кулаком. Мокрая земля после грозы. Старый, заброшенный подвал. Сладкая древесная гниль. И что-то неуловимо животное, мускусное, как шкура зверя, спящего у огня.

Вэй смотрел, как от поверхности чая поднимается пар. Но он не уходил вверх, к листве тополя. Пар, казалось, был тяжелее воздуха. Он стекал вниз, густой и маслянистый, обнимая края глиняной пиалы, словно не хотел её покидать.

— Мешаешь противосолонь, — вдруг сказал Ибрахим. Он не поворачивался к Вэю, он смотрел в свою чашу слепыми глазами.

Вэй опустил взгляд на свою руку. Он даже не заметил, как сделал это. Машинально, по привычке, он покрутил свою пиалу левой рукой против часовой стрелки. Так учил его Наставник: «Левая рука забирает, хранит в себе темноту. Правая отдает, несет свет. Закручивай против солнца, если хочешь спрятать свою боль от чужих глаз».

— Вы знали моего Мастера? — тихо спросил Вэй. Вопрос вырвался сам собой, хриплый и неуверенный.

Ибрахим усмехнулся, обнажив десны, розовые и свежие, как лепестки лотоса, — пугающе живые на фоне его древнего лица. — Я знаю всех, кто прячет боль в глине, мальчик, — проскрипел он. — Глина всё помнит. Но она не умеет прощать. Пей. Только не залпом. Этот чай не лечит. Он не дает надежды. Надежда — это попытка для дураков. Он просто делает ожидание терпимым.

Вэй поднес пиалу к губам. Напиток лег на язык тяжелым, бархатным грузом. Он не обжег — он придавил. Вкус был землистым, с глубокими нотами старого, мокрого дерева, выделанной кожи и сладковатым, почти шоколадным послевкусием, которое появлялось не сразу, а спустя минуту после глотка, медленно расцветая где-то за ушами.

Это была сама вечность, разлитая по грубым чашкам. Тоска по саду, которую Вэй нес в себе как тяжелый, раскаленный камень с самого момента пробуждения в Пекине, никуда не делась. Она всё еще была там, в центре груди. Но она перестала быть острой. Она перестала резать. Она стала теплой. Словно рану, которая пылала огнем, накрыли толстой, тяжелой шерстяной тканью. Боль осталась, но паника ушла. Впервые за долгое время Вэй мог дышать полной грудью, не давясь собственным горем.

— Почему вы назвали это пылью времени? — спросил Вэй, не узнавая собственного голоса. Он звучал ровно.

— Потому что время — это единственное, что у нас есть, и единственное, чего у нас нет, — Ибрахим отхлебнул из своей пиалы. Его деревянная рука-протез лежала на колене, и казалось, что она слушает разговор внимательнее, чем он сам. — Мы пьем его, когда ждем. Ждем караван из Кашгара. Ждем сына с войны. Ждем, пока высохнут слезы на щеках вдовы. Этот чай не дает надежды. Он дает спину. Чтобы не сломаться в пояснице, пока надежда опаздывает.

Часть 6. Анатомия компаса.

— Почему вы назвали это пылью времени? — спросил Вэй. Его голос прозвучал хрипло, словно горло, сведенное спазмом гнева с самого утра, наконец-то вспомнило, как дышать. Он почувствовал, как расслабляются мышцы шеи, а сведенные от ярости челюсти отпускают зубы. Сладковатая, землистая горечь пуэра всё еще обволакивала язык, но она больше не казалась вкусом могильной земли. Она стала вкусом фундамента, на котором можно стоять.

— Потому что время — это единственное, что у нас есть, и единственное, чего у нас нет, — Ибрахим отхлебнул из своей пиалы. Он не глотал чай, он словно пробовал его на плотность, перекачивая во рту. — Мы пьем его, когда ждем. Ждем караван из Кашгара, который давно занесло снегом. Ждем сына с войны, письма от которого пахнут порохом и чужой землей. Ждем, пока высохнут слезы на щеках вдовы, которая сидит у окна уже третий год. Этот чай не дает надежды. Надежда — это пытка для дураков. Этот чай дает спину. Чтобы не сломаться в пояснице, пока надежда опаздывает.

Старик говорил, не глядя на Вэя. Его стеклянные глаза цвета выдержанного пуэра смотрели куда-то сквозь стену чайханы, сквозь базар, сквозь само время. Вэй смотрел на его деревянную руку-протез. Механические пальцы, вырезанные в форме изогнутого носика, медленно, с механическим скрипом, разминали кусочек лепешки пуэра, превращая его в пыль. В этом движении не было ни капли суеты. Это было движение вечности.

Вэй сделал еще один глоток. Напиток лег на плечи невидимым, но тяжелым одеялом. Тоска по саду, которую он нес в себе как раскаленный камень с самого утра — с момента, как разбил свой чайник о наковальню Ка, — никуда не делась. Она всё еще пульсировала в груди, напоминая о его провале. Но она перестала быть острой. Она перестала резать внутренности при каждом вдохе. Она стала теплой. Словно рану, которая пылала огнем, накрыли толстой шерстяной тканью. Боль осталась, но паника ушла.

— У тебя плечи слишком высоко, — вдруг сказал Ибрахим, не поворачивая головы. — Ты всё еще пытаешься продать мне этот мир. Опusti их. Здесь не торгуют.

Вэй осознал, что действительно сидит в напряжении, готовый вскочить в любую секунду. Он выдохнул и позволил плечам опуститься. Халат, испачканный гранатовым соком и базарной пылью, тяжело лег на спину.

Старик закончил разминать чай. Он медленно, с достоинством привстал, опираясь на свою живую руку. Деревянный протез-контейнер остался лежать на его колене. Ибрахим порывлся в складках своего выцветшего полосатого халата. Ткань шуршала, как сухие листья. Движения его живой руки были плавными, но экономными — ни одного лишнего жеста.

Он вытащил сверток, замотанный в грязную, промасленную кожу. Развернул. Внутри, на куске черного бархата, лежала лепешка шу пуэра. Она была черной, как земля после ливня, твердой, как кирпич, и покрыта серебристым налетом — тем самым «бархатом времени», который так ценят коллекционеры.

— Тридцать два года в пещере Кунмингуань, — сказал Ибрахим. — Пыль времени. Садись ниже, заваривающий. Раз уж ты испортил ковер уважаемого Ахмеда своим падением, а меня — своим шумом с небес, ты обязан составить мне компанию.

Он не стал ждать ответа. Старик достал из-под халата еще один предмет.

— Тебе нужен лист, который растет там, где никто не спешит, — сказал он, протягивая Вэю небольшой сверток из красной, выцветшей ткани. — В долине, где осень забыла, как уходить, потому что ей слишком лень. Я не дам тебе карту. Карты врут, они ведут торгашей к золоту, а героев — в ловушки. Они плоские.

Старик развернул красную ткань. Внутри, в углублении из бархата, лежал маленький медный компас в латунном корпусе. Корпус был теплым, почти горячим, словно его долго держали на груди, у самого сердца.

Вэй взял его в руки. Он был тяжелее, чем казался. Гораздо тяжелее. Металл словно впитал в себя тяжесть всех дорог, которые он прошел, и всех дорог, которые ему предстояло пройти. Латунь была не гладкой, а шероховатой, испещренной микроскопическими царапинами.

Вэй откинул медную крышку.

Щелчок прозвучал в шумном базаре как выстрел.

Стрелка в компасе не дернулась к северу. Она не сделала плавного полукруга. Она взбесилась. Она бешено дернулась, заметалась от края до края, словно слепое насекомое, ищущее свет, сделала несколько неуверенных, хаотичных оборотов. Вэй почувствовал, как металл в его ладони стал ледяным. Стрелка искала не магнитный полюс. Она искала что-то другое.

Затем она замерла.

Но она не смотрела на буквы «С», «Ю», «З», «В». Она не смотрела на выход из города. Она указывала прямо в центр груди Вэя, туда, где под испорченным шелком халата, завернутый в лоскут, лежал горячий янтарный лист с грибных островов.

— Он укажет тебе путь, — голос Ибрахима прозвучал теперь совсем рядом, — когда твой чай станет горьким от настоящих слез, а не от пыли. Когда ты перестанешь искать вкус, чтобы продать его другим, и захочешь его для себя. Чтобы выжить.

Вэй не мог оторвать взгляд от стрелки. Она вибрировала. Едва заметно, но ощутимо. Медь дрожала в его пальцах, как живая, передавая свой тремор коже. Это было похоже на сердцебиение пойманной птицы.

— Он... он указывает на меня, — хрипло выдавил Вэй.

— А на кого он должен указывать? — фыркнул Ибрахим. — На дворец императора? Твой путь, заваривающий, начинается и заканчивается внутри твоей грудной клетки. Всё остальное — лишь декорации.

Старик убрал руку. Компас мгновенно потяжелел еще больше, словно лишившись поддержки. Вэй с трудом заставил себя закрыть крышку. Щелчок отрезал его от бешеного вращения стрелки, но ощущение вибрации осталось — теперь оно пульсировало в самом центре груди, в такт его сердцу, но чуть быстрее, настойчивее.

— С тебя пять монет за компас, — проскрипел Ибрахим. — И две за совет. Совет простой: не пытайся заварить этот лист, пока не научишься заваривать свою пустоту.

Вэй молча достал серебро. Его руки всё еще подрагивали — не от страха, а от переизбытка ощущений. Он положил монеты на край ковра. Они звякнули глухо, не так, как звенело серебро в лавках.

Он поднялся. Поклонился старику — не так, как кланяются торговцы, ищущие скидку, а так, как ученик кланяется перед сожжением свитка учителя, признавая, что отныне он один в этом мире.

Затем Вэй запахнул пыльный халат. Багровое пятно от граната на темно-синем шелке в полумраке чайханы выглядело как открытая, незаживающая рана.

Вэй шагнул из-под навеса обратно в гомон базара. Солнце ударило по глазам. Запах жареного мяса, пыли и пота обрушился на него, но он едва его заметил. Внутри его грудной клетки, там, где ребра сходятся к сердцу, медленно и ритмично вибрировал кусок меди. Стрелка указывала не на север.

Она указывала на «дом», но дом этот был не в Пекине. Он был где-то внутри, за грудной костью, и путь к нему лежал через самые темные переулки его собственной памяти. Медная стрелка в его кармане едва заметно вибрировала, настойчиво подталкивая его в сторону старых, заброшенных караван-сараяв, где пахло запустением и забытыми молитвами.

Часть 7. Анатомия забвения.

Солнце начало клониться к закату, окрашивая пыль Самарканда в цвет запекшейся крови..

Вэй шел за стрелкой, пока оглушающий шум базара не остался далеко позади, превратившись в низкий, утробный гул. Компас привел его к городской стене, к старым, заросшим колючим бурьяном воротам, которые не открывали, наверное, со времен Чингисхана. Железные петли давно выросли в камень.

Вэй не стал искать другой путь. Он пролез через кривой, черный от копоти пролом в кладке, обдирая плечи о зазубренные камни.

Он оказался в саду.

Это не был величественный, геометрически выверенный сад Пекина. Это были дикие, заброшенные заросли, где природа взяла реванш над человеческим тщеславием. Тутовые деревья стояли скрюченными инвалидами, их ветви были искривлены сухоткой. Гранаты роняли на сухую, растрескавшуюся землю недозревшие, сморщенные от жары плоды. Они падали с глухим стуком, похожим на вздох.

В центре сада, в углублении из белого камня, бил родник. Вэй опустился перед ним на колени. Вода в нем была мутной, желтоватой, и от неё поднимался едва заметный пар. Она пахла серой и тухлыми яйцами — дыхание подземных глубин. Она была мертвой. Такая вода не годилась для чая. Она убила бы любой, даже самый стойкий лист.

Вэй сел на пятки у края родника. Он достал свой чайник Цзы Ша. Вмятина от палки торговца уродовала его фиолетовый бок, зияя, как открытая рана. Вэй провел по ней пальцем. Глина была шершавой и теплой.

— Я сжег тебя, — прошептал он, глядя на свои руки. — Я променял тебя на серебро купцов. Я променял свой сад на репутацию Хранителя. Я думал, что спасаю его, покупая редкие сорта и коллекционные блины, а сам забыл, как дышать вместе с землей.

Он достал серебряный лист, полученный от Ибрахима. Тот самый, холодный. Лист памяти. Вэй осторожно положил его на сухую, мозолистую ладонь.

Лист начал крошиться. Он не таял, как лед. Серебро осыпалось с него сухим, беззвучным пеплом. Ветер, пахнувший пустыней, подхватил эту невесомую пыль и понес её прямо к мутной, мертвой воде родника.

Как только первая крупинка коснулась поверхности, вода вздрогнула. Запах серы исчез. Мгновенно. Вода запахла пылью. Той самой «пылью времени», которую заваривал слепой старик. Запахом долгого, безнадежного ожидания.

Вэй посмотрел на свой медный компас, который всё это время сжимал в левой руке. Стрелка всё еще дрожала, но вибрация стала другой — не истеричной, а сосредоточенной. Стрелка медленно, очень медленно начала поворачиваться. Она уходила от его сердца. Она ползла по кругу, миллиметр за миллиметром, словно преодолевая невидимое сопротивление, пока не замерла. Она указывала точно на север.

Вэй выдохнул. Воздух вышел из легких со свистом. В груди было пусто и звонко. Словно из сосуда вылили прокисшее вино, но еще не налили свежее. Сад в Пекине всё еще умирал. Вэй всё еще не знал, как его спасти. Но теперь он знал главное: чтобы его спасти, нужно не просто найти листья. Нужно было вернуть себе право называться Хранителем. Право быть несовершенным.

Он поднялся. Кости хрустнули. Он отряхнул халат от серой пыли. Багровое пятно от граната на темно-синем шелке в сумерках выглядело как открытая, незаживающая рана. Но теперь Вэй смотрел на неё без стыда.

Он достал из поясного мешочка остатки «пыли времени» Ибрахима. Кусок черного кирпича, завернутый в кожу. Он был тяжелее, чем казался. — Пора заварить что-то настоящее, — сказал он в пустоту сада. Голос эхом отразился от мертвых деревьев.

Он достал из-за пазухи первый лист. Янтарный дар фуку. Он положил его на плоский, нагретый солнцем камень у родника. Золотой свет листа вспыхнул в сгущающихся сумерках, освещая его руки и мутную воду.

Вэй поднял голову. Впереди, на севере, куда указывал компас, горизонт больше не горел цветом заката. Он горел цветом свежего, только что развернувшегося чайного листа. Ярко-зеленым, почти ядовитым, пульсирующим светом.

Глава 2. Пыль времени и железный купец.

Часть 1. Анатомия миража.

Рассвет в Самарканде пахнет остывающим камнем и свежей кровью.

Вэй покинул заброшенный сад у старых ворот еще до того, как первые, робкие лучи коснулись бирюзовых минаретов. Небо на востоке было цвета застарелого синяка. Медный компас в его кармане больше не дрожал. Стрелка, наконец-то освободившись от тяжести его вины, указывала на север твердо и требовательно, как палец обвинителя. Она больше не вибрировала, не искала центр его боли — она нашла цель и теперь тянула Вэя вперед, словно невидимая нить.

Он шел по узким улочкам ремесленников, где воздух был густым от запаха раскаленной меди, паленой шерсти и кислого молока. Город просыпался тяжело, со скрипом. Это был скрежет открываемых деревянных ставен, мычание волов и крики первых зазывал. Вэй чувствовал себя здесь чужим не из-за одежды — его испорченный шелковый халат с багровым пятном здесь мог сойти за наряд богатого безумца или опального визиря — а из-за тишины внутри себя.

Смех фуку, сотрясавший острова, и пыль забвения Ибрахима, осевшая на сердце в караван-сараях, вымыли из него привычную суету, оставив лишь гулкую, холодную пустоту. Пустоту, которую нужно было заполнить целью, иначе она поглотит его самого.

Компас вывел его из лабиринта старого города к подножию холма Афрасиаб. Здесь, среди руин древних стен, которые помнили еще поступь Искандера Двурогого, начиналась территория, которую местные обходили стороной. Земля здесь была серой, выжженной, похожей на пемзу. Из трещин в камнях росла только жесткая, серая полынь, чей запах напоминал о тоске и бессоннице.

Вэй остановился, чтобы перевести дух. Он достал флягу. Вода внутри всё еще пахла «Золотым Львом» с островов — диким медом и брожением, — но теперь к этому сладкому аромату примешивался резкий, тревожный запах железа. Запах крови и машин.

Он посмотрел на компас. Стрелка указывала на огромный, бесформенный холм из битого кирпича, спекшейся глины и строительного мусора прямо перед ним. Казалось, это просто свалка, на которую тысячу лет сбрасывали отходы из дворцов.

Но когда Вэй подошел ближе, он увидел, что холм дышит. Из глиняной толщи, из-под завалов кирпича, шел едва заметный пар. Он поднимался над землей сизыми струйками в холодном утреннем воздухе. И пахло оттуда не гнилью, не тленом, а густым, концентрированным ароматом пуэра.

Это был запах не просто чая. Так пахнет его душа — влажной, тяжелой землей, старым, потемневшим от времени деревом и древним, непрекращающимся процессом распада, который и есть жизнь. Вэй замер, вдыхая этот аромат. Он был настолько плотным, что его можно было пить.

Вэй обошел холм, лавируя между завалами. И замер. В склоне была дверь.

Массивная, обитая листьями темной, местами позеленевшей меди, она выглядела так, словно ее вырезали из борта броненосца и врыли в землю. На ней не было ни ручки, ни кольца — только массивные медные заклепки. Над дверью висел знак, выжженный на куске черного дерева: сцепленные зубья шестеренки, внутри которой распустился цветок чайного куста.

Стрелка компаса в кармане билась о медную стенку, как пойманная, обезумевшая птица. Она хотела внутрь. Вибрация передавалась на бедро, и Вэю казалось, что его нога немеет.

Вэй толкнул дверь. Она не поддалась. Холодный металл даже не дрогнул под его ладонью. Он толкнул сильнее, вложив вес плеча. Никакой реакции. Дверь была частью холма.

Тогда он достал свой чайник Цзы Ша. Он вытащил его из поясного мешочка, и тот показался ему неестественно легким без воды. Вмятина от палки торговца на его боку — след от встречи с Ка — казалась здесь, среди запаха железа и глины, уместной. Как шрам на лице ветерана.

Вэй не знал, что делать. Он не был взломщиком. Он был Хранителем. Его инструменты — это вода и огонь. Он достал янтарный лист — подарок фуку. Тот всё еще был теплым, пульсирующим. Вэй положил его на медную притолоку двери, прямо над тем местом, где должен быть замок. Он надеялся, что радость откроет путь.

Ничего не произошло. Лист начал остывать на холодном металле, и его золотое, живое сияние начало угасать, превращаясь в тусклую, мертвую смолу. Вэй почувствовал укол паники, острый и знакомый. Он снова всё испортил. Он принес радость туда, где ей нет места.

— Ты всегда сначала ломаешь, а потом думаешь, заваривающий? — раздался из-за двери скрипучий, насмешливый голос.

Он звучал так, словно говорил сквозь металлическую трубу.

В двери со скрежетом, от которого заныли зубы, открылось маленькое зарешеченное окошко. На Вэя смотрела пара глаз, блестящих, как шляпки новых медных гвоздей.

— Убери свою сухую траву от моей двери, — проскрипел голос. — Она портит антикоррозийное покрытие. Если хочешь войти, плати пошлину.

— Какую пошлину? — спросил Вэй. Горло пересохло. — У меня нет местных денег. Нет серебра.

— Мне не нужны деньги, — окошко захлопнулось со звуком упавшего забрала.

Через мгновение с тяжелым, влажным лязгом отъехала массивная медная заслонка внизу двери, размером ровно с кошачий лаз. Оттуда, прямо в серую пыль, с хлопаньем выплеснулась лужа густой, черной, как смола, жидкости. Она пахла тем самым пуэром, но в десятки раз сильнее. Это была эссенция земли.

— Пошлина — это вкус, — пояснил голос, теперь звучавший прямо из-под пола. — Ты заваришь мне чай. Прямо здесь. На этой земле. Без твоих фарфоровых игрушек. Если мне понравится, я впущу тебя. Если нет — я впущу твою печень. Она пойдет на удобрения для моего подвала. У меня там растет отличная плесень.

Часть 2. Анатомия сервировки.

Внутри холма оказался не подвал, а колоссальная, циклопическая пещера, освещенная сотнями масляных ламп. Но свет давали не только они.

Стены пещеры были выложены цельными плитами из чистого, отполированного до зеркального блеска серебра. Они отражали пламя ламп, создавая иллюзию, что в пещере горит тысяча солнц, и многократно умножая самого Вэя — он видел сотни своих отражений, бредущих по серебряному коридору. Потолок представлял собой гигантский свод из красной меди, покрытой благородной патиной, который придавал всему пространству кровавый, тревожный оттенок.

Воздух здесь был неестественным. Он был сухим и прохладным, пахнувшим грозovým озоном, раскаленным металлом и старой, рассыпающейся в прах библиотекой. Здесь не было места жизни. Не было запаха земли, не было дыхания грибницы. Это была стерильная лаборатория вечности.

Посреди пещеры стоял стол. Но это был не стол для еды или переговоров. Это была массивная кузнечная наковальня, вросшая в пол, но покрытая не сажей, а толстым, идеально ровным листом серебра. На её поверхности не было ни единой царапины.

А за столом сидел тот, кому принадлежал голос.

Это был не человек. По крайней мере, не совсем. Его тело было заковано в сложную броню из меди и темной кожи, напоминающую дорогой чайный сервиз династии Мин, который безумный бог разобрал на части и собрал заново на живом существе. Суставы скрипели при малейшем движении, издавая звук работающих шестеренок.

Левая рука, которую Вэй видел еще на базаре, была деревянной. Но теперь, в ярком свете, Вэй разглядел детали. Это был не просто протез. Это был сложный часовой механизм. Пальцы из черного эбенового дерева заканчивались медными насадками разной формы, которые тихо шелкали, меняя положение: одна была заточена, как шило для прокалывания чайных блинов, другая выгнута в форме идеальной ложки для заварки, третья — как миниатюрный молоток для разбивания корки на шу пуэре.

Правая рука была человеческой, но она вызывала еще больший ужас. Кожа на ней была неестественно бледной, почти прозрачной, туго натянутой на кости, как пергамент на барабан. Под ней синеватыми реками проступали вены.

Но самым страшным было лицо. Оно было гладким, без единой морщины, с чертами, которые можно было бы назвать красивыми, если бы не их абсолютная симметрия. Слишком правильным. И абсолютно неподвижным. Это была фарфоровая маска тончайшей работы, расписанная вручную золотом по белому цинбао. На ней застыла улыбка вежливого, но смертельно скучающего чиновника, который слушает прошения крестьян в канцелярии императора. Только глаза двигались — те самые медные глаза, которые сейчас внимательно, без малейшего проблеска эмоций, изучали Вэя, словно он был редким насекомым, припиленным к доске.

— Садись, — фигура указала своей механической деревянной рукой на простую циновку из рисовой соломы, брошенную прямо на холодный серебряный пол перед наковальней. — Меня зовут Мастер Ка. Но для таких, как ты, бродяг и романтиков, я — Железный Купец.

Вэй сел. Его колени, привыкшие к мягкости соломенных татами в «Нефритовом истоке», ощутили леденящий холод серебра, проникающий сквозь ткань штанов. Этот холод казался враждебным, он вытягивал тепло из тела.

Ка шелкнул пальцами. Звук был сухим, похожим на треск ломающейся ветки. Из темноты за спиной Вэя с мягким пневматическим шипением выдвинулись две медные руки-при-

слуги. Они не имели тел, только сложные шарниры и пальцы, заканчивающиеся вакуумными присосками. Они несли серебряный поднос.

На подносе стояла вода. Но это была не вода. В прозрачном кубе льда, размером с голову ребенка, была заморожена жидкость. И она медленно, ритмично кипела внутри льда, не разрушая его прозрачной структуры. Пузырьки пара поднимались вверх, упирались в ледяную крышку и исчезали.

— Ледяной огонь, — пояснил Ка, и его фарфоровая маска едва заметно шевельнулась. Голос по-прежнему шел из скрытого в шее динамика. — Добывается в горах, где ветер дует со скоростью крика и замораживает звук. Идеален для улунов. Он сохраняет структуру листа, не убивая его жаром. Но ты, я чувствую, принес с собой грязь.

Вэй стиснул зубы. Он достал свой Цзы Ша. Поставил его на наковальню. Глухой, влажный стук пористой глины о стерильный металл прозвучал жалко и одиноко в этой симфонии технологий. Он был как крестьянин, пришедший на бал механиков.

— Это глина, — сказал Вэй, кладя руку на бока своего чайника, словно защищая его. — Она живая. Она хранит память.

— Память — это коррозия, — отрезал Ка. Его деревянная рука с насадкой-шилом дернулась в нетерпеливом жесте. — Ржавчина духа. Я предпочитаю стерильность. Идеальную пустоту, готовую к заполнению.

Он взял ледяной куб специальными щипцами, которые выдвинулись из его наручи. Положил его в центр наковальни. Куб зашипел, соприкасаясь с металлом, но не растаял.

— Удиви меня, заваривающий, — проскрипел Ка. — У тебя есть три пролива. На четвертом я решу твою судьбу. Либо я сварю тебя в твоем же чайнике, превратив в эссенцию для моих экспериментов. Либо просто отрублю тебе ноги и заберу чайник. У меня как раз не хватает грузчиков для нижних ярусов, где мы дробим руду.

Вэй посмотрел на ледяной куб. Затем на свой чайник. Затем в медные глаза-маски. Он понял, что сталь, которую он чувствовал в себе после слов Ибрахима, сейчас подвергнется испытанию огнем и льдом.

Часть 3. Анатомия металла.

Вэй достал янтарный лист. Тот самый, пульсирующий подарок фуку. Он осторожно, кончиками пальцев, положил его в холодный, пустой живот Цзы Ша. Лист лег на дно, как спящий зверек.

— Это плохой выбор, — проскрипел Ка. Динамик в его шее издал легкий статический треск. — Сладкое убивает вкус металла. Ты принес вкус праздника в дом стали. Это нелепо.

— Я не собираюсь убивать ваш вкус, Мастер, — ответил Вэй. Он старался, чтобы голос не дрожал, но колени всё ещё стыли от холода серебра, а в воздухе пахло озоном, предвещающим бурю. — Я не собираюсь с ним бороться. Я собираюсь его заземлить.

Он достал «пыль времени» Ибрахима. Кусок черного, спрессованного кирпича. Пальцы Вэя на мгновение онемели от его холода. Он разжал их. Кусок упал в чайник к янтарному листу с глухим стуком. Черный уголь и золотая смола встретились в холодной глине.

Ка наклонил голову. Механика его тела издала едва слышный, сухой щелчок — фарфоровая маска дернулась, и механизм шеи пришел в движение.

— Ожидание и радость? — в медных глазах-объективах мелькнул багровый огонек интереса. — Алхимик или дурак?

Вэй не ответил. Спорить с этим существом словами было всё равно что уговаривать наковальню. Он перевел взгляд на медную руку-слугу. Она протянула ему длинные стальные щипцы.

Вэй взял ледяной куб. Он был тяжелее, чем казался. Куб обжигал холодом даже через дерево щипцов, высасывая тепло из костей. Вэй положил его на серебряную наковальню, рядом с чайником. Лед лег на металл с глухим стуком, и по серебру тут же побежала сеть инея.

Затем Вэй сунул руку в свой поясной мешочек. Его пальцы нащупали два гладких, округлых камня, которые он подобрал в заброшенном саду у ворот Самарканда.

— Серебряная наковальня, — сказал Вэй, не отрывая взгляда от медных глаз маски. — Она отражает всё. Свет. Лицо. Намерения. Но она мертвая. Она холодная. Чтобы услышать истинный вкус, сосуд должен быть живым. Он должен дышать.

Он взял камни. Они были раскалены почти докрасна. Вэй нагрел их у входа в пещеру, пока ждал открытия двери, используя жалкие остатки тепла утреннего солнца. Камни жгли ладони даже через рукав.

Вэй сделал шаг к наковальне. Он приложил один раскаленный камень к боку своего чайника Цзы Ша, прямо поверх старой вмятины от палки торговца.

Тишиииии! Глина зашипела, как рассерженная змея. Она задымилась, впитывая жар. Вмятина на боку чайника — шрам от встречи с Ка в Самарканде — начала медленно, почти незаметно разглаживаться от температуры. Глина «дышала», принимая форму.

Вэй зашипел от боли — камень был невыносимо горячим. Он быстро, чтобы не обжечься и не уронить его, перехватил камень и переложил его под дно чайника. Теперь Цзы Ша стоял на раскаленной скале. Второй камень, такой же обжигающий, он положил на серебряный пол прямо вплотную к ледяному кубу.

— Ты греешь глину огнем и охлаждаешь воду льдом, — проскрипел Ка. Его корпус слегка подался вперед, бронза тускло блеснула. — Ты пытаешься создать разность потенциалов. Создать короткое замыкание в чашке. Ты пытаешься вызвать молнию. Это... забавно. По-варварски.

Вэй не слушал. Он закрыл глаза на секунду, выравнивая дыхание. Его руки дрожали не от страха, а от колоссального напряжения. Он следил за камнями. Когда камень под дном чайника начал отдавать свой жар, становясь вишневым, а ледяной куб начал плакать, образуя вокруг себя лужу талой, кристально чистой воды, Вэй поймал момент.

Это было безумие. Это противоречило всем канонам гунфу-ча, которые вбивали в него с детства. Никогда. Никогда нельзя лить кипяток на холодный камень. Это убьет чай.

Он взял чайник за теплую, согретую глиной ручку.

И начал лить воду.

Но он лил не талую воду, скопившуюся вокруг льда. Он лил тонкую, ледяную струю талой воды, стекающую прямо с граней ледяного куба, *прямо на раскаленный докрасна камень, лежащий на дне чайника.*

Раздалось громкое, яростное, почти взрывное шипение.

Пишишиши!

Вода встретила с камнем. Это был не просто звук. Это был вопль двух стихий. Мгновенный пар ударил вверх, но не смог вырваться наружу. Запертый внутри пористых стенок Цзы Ша, он мгновенно пропитался сухим ароматом «пыли времени» и сладким, смолистым духом янтарного листа. Чайник задрожал в руках Вэя, вибрируя от столкновения огня и льда.

Вэй не ждал положенные секунды. Он не ждал «промывки». Он действовал на инстинктах, на запахе, который бил в ноздри. Он слил первую заварку — густую, черную, как деготь, жидкость — *прямо на второй раскаленный камень*, лежащий на наковальне рядом с ледяным кубом.

Вода зашипела, испаряясь от соприкосновения с металлом, и выпустила в воздух плотное, белое облако пара.

Оно пахло не чаем.

Оно пахло грозой.

Мокрым лесом после удара молнии.

Древесным углем.

И где-то в самой глубине этого аромата — горькой карамелью.

Вэй поставил чайник. Его руки были черны от сажи, налившейся из пор глины, а на лбу выступил пот. Он тяжело дышал, хватая ртом сухой, стерильный воздух пещеры.

— Ты варишь чай на жертвенном огне, — прошептал Ка.

В его голосе больше не было скрипучего металла. Не было насмешки. В нем появилось что-то другое. Что-то похожее на... уважение. И голод.

Часть 4. Анатомия сделки.

Вэй слил первую заварку. Чайник теперь был не просто теплым — он был живым. Он пульсировал жаром, как сердце загнанного зверя, передавая вибрацию прямо в ладонь. Глина Цзы Ша, казалось, расширилась, заполнив собой каждую свою пору. Вмятина на боку, оставленная торговцем, почти исчезла, превратившись в едва заметный рубец.

Вэй налил вторую заварку. Вода, коснувшись раскаленного дна, даже не зашипела — она взревела. Она мгновенно превратилась в густой, темно-рубиновый, почти непрозрачный настой. Цвет был густым, как венозная кровь. Но цвет был не главное.

Пар.

Вэй перелил настой в гайвань, которую он использовал как чашу, стараясь держать её на весу, чтобы не отдавать холодному серебру наковальни ни капли драгоценного тепла. Он поднял крышку.

Пар, поднимающийся от гайвани, вел себя неестественно. Он не уходил вверх, к медному своду пещеры. Вэй поднял глаза. Под самым потолком, скрытые в тених, работали невидимые медные трубы с лопастями вентиляторов. Они едва слышно гудели, создавая постоянный, контролируемый нисходящий поток воздуха.

Пар не улетал. Он стелился над серебряным столом густым, плотным, белым облаком, похожим на туман, пойманный в банку. Он пах влажной землей после ливня, прелыми листьями и той самой сладкой гнилью, которую Вэй вдыхал в саду Ибрахима. Это был запах времени, ставшего осязаемым.

Ка протянул свою живую руку. Его пальцы были длинными, узловатыми и неестественно бледными, туго натянутыми на кости. Казалось, если надавить на кожу, она лопнет, как старый пергамент. Он взял гайвань.

Он не стал пить. Фарфоровая маска даже не наклонилась к чаше. Вместо этого Ка погрузил свое неподвижное лицо прямо в облако пара. Медный купец вдыхал аромат. Его грудная клетка, скрытая медной броней, поднималась и опускалась в такт. Механические шестерни в его плечах издавали тихий, почти неслышный свист при каждом глубоком вдохе. Он вдыхал так, словно пил этот пар легкими, впитывая эссенцию чая напрямую в кровь, минуя рот.

Он сидел так целую минуту. В пещере было слышно только монотонное шипение остывающего камня на дне чайника и далекий, утробный гул механизмов где-то в стенах — сердце этого железного холма.

Ка отстранился от чаши. Он поставил гайвань на наковальню. Звук был чистым, серебряным, музыкальным.

— Ты прошел пошлину, — сказал Ка. Его голос изменился. Скрипучий металл исчез, сменившись глубоким, резонирующим баритоном. — Это варварство. Это нарушение всех законов термодинамики и здравого смысла. Ты смешал лед и пламя в пористом сосуде. Но это... вкусно. Ты заставил металл потеть. Ты заставил *меня* почувствовать жажду.

Он щелкнул пальцами. Звук был сухим и щелкающим, как ломающаяся ветка. Медные руки-прислуги, до этого неподвижные, ожили. Они скользнули из теней, подхватили чайник Цзы Ша и раскаленные камни. Их движения были пугающе точными и бесшумными. Через секунду пещера снова казалась пустой, если не считать наковальни и двух людей.

Ка наклонился вперед. Его фарфоровое лицо оказалось в дюйме от лица Вэя. Маска улыбалась всё той же вежливой, мертвой улыбкой, но теперь, вблизи, Вэй разглядел микроскопическую трещину в краске на левой щеке — след их прошлой встречи.

— Ты ищешь лист, — проскрипел Ка. Динамик в шее снова издал легкий статический треск. — Это хорошо. Твоя целеустремленность делает тебя полезным инструментом. Но ты

ищешь его из страха. Ты пахнешь пеплом, как сказал старик на базаре. Страх — это плохой фундамент для вкуса. Он делает всё горьким.

Вэй похолодел. Воздух в пещере показался ему ледяным. — Что вы имеете в виду? — голос Вэя сел до хриплого шепота. Он инстинктивно подался назад, но наткнулся спиной на холодную серебряную стену.

— Я имею в виду, что ты опоздал на десять лет, — Ка откинулся на спинку своего механического кресла. Кресло издало шипение гидравлики, принимая вес. — Древо Вкуса не просто дает листья, заваривающий. Оно не фабрика. Оно — ось. Гвоздь, на котором держатся весы этого мироздания.

Ка поднял свою механическую левую руку. Пальцы-шила щелкнули. — Когда ты, Хранитель, перестал слушать землю и начал продавать *имена*... когда ты превратил суть в бренд, ты нарушил баланс. Ты начал брать, не отдавая. Корни Древа, лишённые твоей истинной заботы, начали гнить.

Фарфоровая маска наклонилась, и Вэй увидел свое искаженное отражение в её лбу. — Но гниение — это не смерть, — продолжил Ка. — Это трансформация. Это химия. Бактерии превращают сахар в кислоту. Корни превратили воду в нечто иное.

Ка выдвинул ящик в столе. Он достал оттуда не лист. Он достал стеклянную колбу, внутри которой, в прозрачной, вязкой жидкости, плавал чайный побег.

Вэй подался вперед, забыв о страхе. Его сердце пропустило удар. Это был лист с Древа. Он узнал эту форму. Но это был не лист. Это было чучело листа. Побег был мертвенно-бледным, почти прозрачным, как медуза. Его прожилки светились тусклым, нездоровым фосфором. Он не плавал в воде. Он плавал в чем-то густом, похожем на жидкое стекло или застывшую слезу.

— Твой сад, заваривающий, не просто засыхает, — проскрипел Ка. — Он мутирует. Корни, лишённые твоей любви, но переполненные твоей виной, начали пить не воду. Они начали пить саму суть времени. Хронос. Пыль Ибрахима.

Ка аккуратно поставил колбу обратно на стол. Свет медных ламп преломился в ней, бросив на лицо Купца мертвенно-бледные блики. — Если ты принесешь лист сейчас, — сказал он тихо, — он убьет всё живое в твоём саду. Он не исцелит. Он закончит процесс распада. Он превратит Пекинский сад в идеальный, стерильный, мертвый кристалл. Как эта пещера.

Вэй смотрел на прозрачную жидкость в колбе. На мертвый свет внутри листа. — Зачем вы мне это говорите? — голос Вэя был пуст. — Вы хотите меня остановить? Спасти сад от меня?

Ка издал звук, похожий на смешок, но из динамика вырвался только сухой треск. — Остановить? — Он поднял свою бледную, живую руку и постучал пальцем по фарфоровой маске. — Я хочу тебя *купить*, Вэй.

Фарфоровая маска улыбнулась шире, и в этой улыбке впервые появилось что-то хищное.

— Мне не нужен лист, чтобы спасти сад. Мне нужен лист, чтобы его уничтожить.

Ка поднялся. Его механическое кресло отъехало назад само по себе. Он оказался выше, чем казался сидя. Броня на его груди тускло блестела.

— Ты всё ещё мыслишь категориями «жизнь» и «смерть», — он начал медленно обходить наковальню, сокращая дистанцию. — Это примитивно. Я мыслю категориями «хаос» и «порядок».

Он остановился сбоку от Вэя. Вэй чувствовал запах озона и машинного масла, исходящий от его тела.

— Твой сад — это хаос. Засуха, гниль, твои слёзы, твои ошибки. Это плохо для бизнеса. Мои караваны с пряностями попадают в зоны нулевой гравитации, которые порождает твоя умирающая аномалия. Цены на улун скачут. Это... неэффективно.

Ка протянул руку к стеклянной колбе, но не коснулся её.

— Я — Перфекционист, Вэй. Я — Архитектор. Я хочу выточить этот мир заново. Стерильный чай. Стерильные миры. Никаких пятен от граната на шелке. Никаких слез в чашке. Никаких «испорченных» халатов.

Он повернул свою медную голову к Вэю. Медные глаза-объективы сфокусировались на нем.

— Я хочу клонировать Древо. Извлечь из тебя то семя, которое ты несешь в себе после прохода через миры. Посадить его в стальном бункере, глубоко под землей. Я буду контролировать каждую каплю влаги. Каждый фотон света. Чай станет идеальным. Абсолютным. И я стану единственным поставщиком во все миры. Железным монополистом.

Он наклонился к самому уху Вэя. Его голос стал едва слышным шепотом, от которого стыла кровь:

— А твой сад... пусть гниет. Это будет милосердно. Быстрая, чистая смерть в кристалле вместо долгой, грязной агонии в грязи. Я предлагаю тебе сделку. Ты — еретик. Я предлагаю тебе стать богом.

Ка выпрямился. Он достал из другого ящика своего стола второй предмет. Это был компас. Точная копия того, что дал Вэю Ибрахим. Медный корпус, латунная стрелка. Ка положил его на стол рядом с Вэем, с той стороны, где сидел сам.

— Этот компас, — Ка постучал медным пальцем по стеклу компаса Ибрахима, который всё еще был у Вэя, — указывает на центр тяжести твоей вины. Он ищет твой долг. Мой компас, — он придвинул копию, — указывает на центр тяжести выгоды.

Стрелка на компасе Ка указывала прямо на грудь Вэя.

— Ты носишь в себе семя, заваривающее, — прокричал Ка. — Когда ты проходил через миры, ты впитывал их суть. Ты стал идеальным контейнером. Если ты принесешь лист в свой сад, ты убьешь его, завершив распад. Но если ты принесешь лист *мне*... я извлеку из тебя это семя. Я клонирую Древо.

Он взял серебряный щипец и подхватил из воздуха невидимую пылинку.

— А твой сад... пусть гниет. Это будет милосердно. Быстрая смерть вместо долгой агонии.

Ка пододвинул к Вэю маленький слиток серебра и смятый контракт, написанный на тонких пластинах слюды.

— Подпиши. Первая выплата — сто слитков. Прямо сейчас. Тебе даже не придется искать лист. Просто приведи меня к нему. Стань моим ключом.

Часть 5. Анатомия предательства.

Вэй почувствовал, как пол уходит из-под ног. Холод серебра мгновенно пробрал его до костей, но это был холод не металла, а абсолютной, зияющей пустоты под ногами. Мир перевернулся.

— Вы... вы работаете на того, кто убивает миры? — выдохнул он. Горло пересохло, и слова вышли хриплым шелестом.

— Я работаю на того, кто создает *порядок*, — отрезал Ка. Его фарфоровое лицо не изменилось, но в медных глазах-объективах полыхнул багровый свет раздражения. — Хаос твоего увядающего сада порождает нестабильность. Цены на улун скачут. Мои караваны с пряностями попадают в зоны нулевой гравитации, которые выплевывает твоя умирающая аномалия. Это плохо для бизнеса. Это... неэффективно.

Он достал из другого ящика своего стола второй предмет. Это был компас. Точная копия того, что дал Вэю Ибрахим. Тот же медный корпус, та же латунная стрелка. Ка положил его на стол рядом с Вэем, с той стороны, где сидел сам. Движения его механической руки были пугающе точными.

— Этот компас, — Ка постучал медным пальцем по стеклу компаса Ибрахима, который всё еще лежал в кармане Вэя, — указывает на центр тяжести твоей вины. Он ищет твой долг, твое покаяние. Мой компас, — он придвинул копию к самому локтю Вэя, — указывает на центр тяжести выгоды. На прагматику.

Стрелка на компасе Ка указывала прямо на грудь Вэя. Она вибрировала мелкой, нетерпеливой дрожью, словно голодный зверь, учуявший кровь.

— Ты носишь в себе семя, заваривающее, — проскрипел Ка. — Семя Древа. Когда ты проходил через миры, ты впитывал их суть. Радость фуку, терпение Ибрахима, ярость Ка... Ты стал идеальным контейнером. Идеальным аккумулятором.

Ка наклонился вперед, его фарфоровая маска почти коснулась лица Вэя.

— Если ты принесешь лист в свой сад, ты убьешь его. Ты закончишь процесс распада, превратив его в стерильный кристалл. Но если ты принесешь лист *мне*... я извлеку из тебя это семя. Я клонирую Древо. Я посажу его в стальном бункере, глубоко под землей, где буду контролировать каждую каплю влаги и каждый фотон света. Чай станет идеальным. Абсолютным. Стерильным. И я стану единственным поставщиком во все миры. Железным монополистом.

Он взял со стола серебряный щипец и изящным движением подхватил из воздуха невидимую пылинку.

— А твой сад... пусть гниет. Это будет милосердно. Быстрая, чистая смерть в кристалле вместо долгой, грязной агонии в грязи. Я предлагаю тебе сделку. Ты — еретик, которого ищет Ка. Я предлагаю тебе стать богом. Моим партнером.

Ка протянул руку. В ней лежал контракт, написанный на тонких, почти прозрачных пластинах слюды. Чернила, казалось, были сделаны из застывшего дыма.

— Подпиши. Первая выплата — сто слитков серебра. Прямо сейчас. Тебе даже не придется искать лист. Просто приведи меня к нему.

Вэй посмотрел на свою правую руку. Она дрожала. Мелко, предательски. Он посмотрел на свой компас. Стрелка всё еще указывала на север, на его долг, на Пекинский сад. Но она дрожала сильнее, чем раньше, словно ветер сомнений пробрался даже в его собственный карман. Он посмотрел на чайник Цзы Ша. Он стоял на серебряной наковальне. На его боку всё еще была вмятина от палки торговца — шрам, который теперь казался символом его собственной сломанной гордости.

Вэй медленно протянул руку. Он взял контракт. Его пальцы коснулись слюды. Она была холодной, гладкой и мертвой.

— Я... — начал он.

Слова застряли в горле. В этот момент фарфоровая маска на лице Ка издала тихий, сухой звук.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.